

© 1996 г. О.Н. ТРУБАЧЕВ

О 'РЯБЧИКЕ', 'КУРОПАТКЕ' И ДРУГИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
СВИДЕТЕЛЯХ
СЛАВЯНСКОЙ ПРАРОДИНЫ И ПРАЗКОЛОГИИ¹

Хеннинг Андерсен, профессор славистики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, известный своими трудами по исторической и описательной фонетике, морфологии, типологии и лингвистической географии славянских языков, выступил на этот раз в несколько новой для себя области, если иметь в виду предпринятые им интенсивные разыскания в области этимологии слов – названий рябчика и куропатки в славянских языках. Однако проявленная им при этом широта взгляда, равная и глубокая заинтересованность во многих, подчас весьма различных, аспектах исследования, высокая теоретичность с одновременным очень пристальным вниманием к конкретному факту – будь то языка или истории культуры, иными словами – все лучшие качества, проявленные и накопленные опытом предшествующих работ этого датско-американского ученого, делают чтение этой новой его работы остроинтересным и поучительным. Обратившись в данном случае к преимущественно традиционной, этимологической, тематике, Андерсен намеренно трактует ее в подчеркнuto современной манере, давая понять, что для его задач это не центральный, а как бы один из многих аспектов исследования. Это находит свое выражение в том, что этимология (все же занимающая видное место в авторской методике) не вынесена в заглавие статьи, где сделан нарочитый акцент на включенности (всей) лингвистики в культурологию и даже на модной теперь экологии. Нельзя не отдать должное автору – даже будучи вынуждены признать крайними или преувеличенными ряд его утверждений (о чем специально ниже), согласимся, что столь же, пожалуй, часто именно его трактовка, его острые наблюдения расчищают путь к реконструкции славянского языкового и культурного прошлого в самом широком смысле.

Поскольку новая работа Х. Андерсена довольно обширна и – вследствие этого – труднообозрима, для начала напомним ее основные положения. Наблюдательный автор прежде всего констатирует факт некоторой избыточности славянской терминологии, относимой к позднепраславянскому времени, а именно – наличие д в у х названий для 'рябчика *Bonasa bonasia*' – **jerębi* и **lęščarūka* и двух – для 'куропатки *Perdix perdix*' – **jerębi* и **kuropŭty*¹. Андерсен прав, полагая, что вскрытая им таким образом синонимия и полисемия требуют специального объяснения. При этом отмечается, что **lęščarūka* 'рябчик' и **kuropŭty* 'куропатка' представляют собой (практически до сих пор) "прозрачные образования", в отличие от затемненного (ораque) **jerębi*: **lęščarūka* 'рябчик' – производное от **lęščari* "заросли орешника" (рябчик любит обитать в орешнике), причем вполне уместно указывается на семантическую параллель нем. *Haselhuhn* 'рябчик', англ. *hazel-grouse*, *hazel-hen* то же – соответственно от *Hasel*, *hazel*

^{*} Нижеследующая статья основана на чтении английского оригинала: Н. Andersen. A glimpse of the homeland of the Slavs: ecological and cultural change in prehistory. Непосредственно к нему восходят и все цитаты в моем переводе. – О.Т.

¹ Сохраняем здесь авторское предпочтение несколько архаизирующей реконструкции преимущественно французской школы Мейе – Вайяна, оставляя за собой право более привычной трактовки й как ѣ, ї как ѧ.

'орешник'; далее, упоминается привычная семантическая реконструкция **kuropŭtu* как 'куриная птица', что, впрочем, автором потом в сущности пересматривается. С этимологической прозрачностью *и **ěščarŭka* и **kuropŭtu*, тем не менее, связывается идея инновации, для первого – в масштабах балканского славянства, для второго – у западных и восточных славян, хотя автор не может не признать наличия продолжений **kuropŭtu* также в словенском и сербохорватском. Наверное, Андерсен прав также, упрекая этимологов в том, что они до сих пор не задумывались, п о ч е м у **jereǫbi* стало названием таких р а з н ы х птиц, как куропатка и рябчик; сам он считает, что на куропатку оно перенесено вторично. Отмечается и такая существенная (экологическая) деталь, как дополнительное распределение обеих птиц в отношении друг к другу: рябчик – птица лесная, а куропатка, наоборот, птица степей. Весьма пластично рисуется автором картина постепенной миграции к северу именно куропатки, что связано с культурным расширением степи за счет лесов. Здесь, как и в ряде других аспектов, автор касается и вопроса славянской прародины, считая, что предки славян жили в лесах Восточной Европы, знали рябчика и не знали куропатку, с которой наиболее южные из них могли познакомиться как со степной птицей и перенесли на нее название рябчика – **jereǫbi* (эти разные птицы внешне похожи). Более южные славяне, как уже сказано, нарекли 'рябчиком' 'куропатку' (**jereǫbi*), а "потом", встретив в лесах Балкан рябчика, назвали его новым **lěščarŭka*.

Привычное объяснение родственной лексической группы русск. *рябчик* ~ *рябина* ~ *рябой* как основанной на определении цвета заменяется у Х. Андерсена совсем иным направлением семантического развития, причем 'рябина' реконструируется как первоначально 'рябчиковая ягода', а само 'рябой, пестрый' – как 'рябчиковый', что подкрепляется аналогией англ. *pie* 'пестрый, разноцветный' на базе *pie* 'сорока'. Мысль о том, что в основе всей семьи слов лежит название птицы, ученый аргументирует эффектным наблюдением, согласно которому шире всего представлены родственные названия 'рябчика' – в славянском, восточнобалтийском и германском, далее идут названия 'рябины' – в славянском и части восточнобалтийского, притом, что значение 'рябой, пестрый' фигурирует только в славянском. Небезынтересно замечание, что *(*je*)*reǫbina* 'рябина' – единственное прозрачно мотивированное название среди прочих названий деревьев, хотя именно рябина – святое дерево у ряда индоевропейских народов, чего автор не может сказать о рябчике. Свою точку зрения он имеет и о словообразовательно-морфологическом членении, понимая *erimbi-/rimbi-* (протоформу слав. **jereǫbi*) как производное с и.-е. суффиксом *-ŋ-bho-* от и.-е. **h₁er-* 'птица', все вместе – якобы уменьшительное 'птичка', сюда же *er-il-a-lar-il-a-* 'орел'. Любопытны и культурологические суждения о том, что первоначальными пасхальными яйцами (весенний праздник плодородия) были яйца рябчика. Нельзя пройти мимо курьезного этимологического прочтения русск. *курочка ряба* как "the grouse hen, рябчиковая курочка", хотя приводимая тут же англосаксонская аналогия "Little Red Hen", кажется, выглядит мотивированной как раз со стороны цвета, а не со стороны рябчика. Весьма смелы авторские построения относительно связи герм. **erpa-* 'коричневый' < сев.-зап.-и.-е. *(*h₁*)*erb-/*(h₁)r̥b-* 'рябчик' с греч. *έρπεος* 'мрак' etc. от и.-е. **h₁regw-* 'темный', для чего автор вспоминает даже гипотезу о "тематических" смычных (слав. *mediae*, вместо и.-е. *tenues* и т.д.) в очень спорной книге австрийца Хольцера. Итогом этих рассуждений является вывод о том, что название 'рябчика' могло быть заимствовано из индоевропейского диалекта – предтечи германского, балтийского и славянского, поглощенного этими последними "в лесах Восточной Европы"... Когда автор заявляет, что "каково бы ни было происхождение (названия 'рябчика'). – О.Т.), оно семантически не мотивировано (то есть лексически изолировано) в славянском, балтийском и германском праязыках", – складывается впечатление, что его (Х. Андерсена) анализ достиг критической точки, не говоря о внутренних противоречиях (см. выше его же этимологию слав. **jereǫbi* 'рябчик' от **h₁er-ŋbho-* 'птичка'?). Правда, констатируется такая индоевропейская особенность, как аблаут – протослав. *erb(ā)-*,

протобалт. *ērb-ē-* и т.д. (детали спорны). Вместе с тем протослав. *raiba-* etc. и праслав. **(je)rębŭ* рассматриваются как чужеродные апофонические ряды, причем первое вытеснялось вторым.

Здесь временно расстанемся с 'рябчиком' и посмотрим, как автор решает вопрос с 'куропаткой' (вторая половина работы). Позднепраславянская реконструкция **kuropŭty* 'куриная птица' вызывает у него сомнения как со стороны формы, так и со стороны содержания: отклонений вроде **koro-*, **kor-*, **kro-* гораздо больше, чем обычно постулируемого **kuro-*. Бегло высказанная им самим здравая мысль о реальности табуирующего искажений охотничьей терминологии одиноко повисает в воздухе. Андерсен склоняется к тому, что изменения типа *koro- > kuro-* осуществились по народной этимологии, причем признаются периферийность и изолированность случаев **kuro-* (? До сих пор именно эта лингвогеографическая черта обычно считалась сигналом первичности). Примерно то же и буквально на тех же основаниях утверждается о замене **pat-* на **pŭt-*. Автор прав, упрекая нас, этимологов, в том, что мы упустили из виду этимологию и реконструкцию Вайяна – **kropaty* ж.р. 'куропатка' < прилагательное **kropatŭ* 'пестрый, пятнистый', но в дальнейшем все же станет ясно, что это не более как вопрос неполноты библиографии. Сам Андерсен на этой этимологии тоже больше не настаивает, высказывая другие оригинальные соображения. Его протославянская реконструкция – *karp-ā-ta-*, типа *bard-ā-ta-* 'бородатый', откуда производное на *-ŭ-* основу женского рода *karp-āt-ŭ-* (приводятся в качестве подтверждений отадъективные производные на *-ŭ-* праслав. **pŭstrŭ > *pŭstry* 'форель', **suxŭ >* сербохорв. *suŭva*, но ни одного случая на *-atŭ > -atyl-atŭve* среди них нет...). Дальнейшая, в том числе семантическая, реконструкция задает автору немало хлопот на избранном им направлении. Его внимание привлекает гнездо протослав. *kurpā-tēi* 'драть, щипать, резать', откуда и праславянское название обуви **kŭrpŭ*. Дело в том, что серая куропатка – птица мохноногая. Ее научное название – *Lagopus*, что по-гречески значит 'зайцелапая'. В этом смысле Андерсен и понимает реконструированное им протослав. *karpā-ta-*, хотя его самого смущает полученный при этом полный вокализм (для обувного термина праслав. **kŭrpŭ* обычен нулевой вокализм корня). *Terminus post quem* для сближения **kuropŭty* с **kurŭ*, **kura* 'курица' – введение домашнего куроводства у славян, которое, надо сказать, датируют довольно рано – до начала нашей эры.

Весь протославянский ареал с формой *erimbi-* на западе и *rimbi-* на востоке, по Андерсену, непротиворечиво локализуется, согласно традиции, между верхней Вислой и средним Днепром, южнее Припяти, в южной части лесной зоны. Большое значение наш автор придает "абсолютной экологической границе лесной и степной зон" для семантического переноса протослав. *(e)rimbi-* 'рябчик' > 'куропатка', а также для момента пересечения славянами этой границы с севера на юг. Размышляя в русле традиционных представлений о среде обитания славян, Андерсен полагает, что "семантический перенос с 'рябчика' на 'куропатку' является неопровержимым свидетельством доисторического события, когда одна часть славян начала заселять степь и повернулась спиной – в культурном и лингвистическом смысле – к лесной среде обитания своих предков". Соглашаясь с Ф.П. Филиным, когда тот специально говорит об отсутствии в славянских языках общей лексики для степной флоры, фауны и т.д. [Филин 1962 : 112, 119–120], наш автор вместе с тем вынужден признать: "Но предложенный здесь анализ двух праславянских слов для куропатки – типичной представительницы степной фауны – показывает, что стоит обратить больше внимания на лексическое содержание этой терминологии". Запомним эту авторскую мысль, считая, со своей стороны, что спор между "лесной" и "степной" (лесостепной) концепциями славянской прародины отнюдь не закончен, он продолжается, стимулируемый новыми плодотворными импульсами вроде новой статьи Х. Андерсена. Есть еще немало рутинно недооцениваемых или не получивших адекватной характеристики языковых фактов, как например отсутствие старого, праславянского названия для

такой лесной птицы, как 'глухарь *Tetrao urogallus*', что успел с достаточной объективностью отметить наш автор, сторонник "лесной" прародины славян. Можно, конечно, сослаться на то, что глухарь – обитатель "северных частей лесной зоны", и Андерсен делает это. Но недвусмысленная дискуссия может быть продолжена и применительно к более южным зонам, также имеющим вероятное отношение к древним местам проживания славян.

Прежде чем изложить наши замечания о предмете исследования Андерсена в более связанной форме, позволим себе обратить внимание на название еще одной птицы, не рассматривавшееся автором, тем более, что это название, кажется, даст возможность увереннее судить о материале статьи Андерсена, а может быть, и о "степной" (южной) версии славянской прародины в целом. Я имею в виду название 'дрофы *Otis tarda*', относимое нами к праславянскому лексическому фонду в реконструированной праформе **dropty*, род.п. **droptyve*, см. [ЭССЯ, 5: 125, 126]. Речь идет о широко-распространенном слове, причем затемненность ряда форм говорит, скорее, в пользу его древности, а корректность принимаемой нами реконструкции подтверждается отдельными реально засвидетельствованными формами, в первую очередь – старочешской (ниже). Значение в основном всюду одно и то же – 'дрофа *Otis tarda*' (отклонения явно вторичны и иррелевантны): болг. *дрѡпла* (Геров: *дрѡпли*), сербохорв. *дро̃пља*, словен. *drōplja*, ст.-чеш. *droptva*, чеш. *drop* м.р., слвц. *drop* м.р., польск. *drop*, род.п. *dropia*, м.р., русск. *дрофа́*, укр. *дрохва́*, блр. *драфа́*. Фонетическое развитие исхода слова пошло по линии упрощения/упрощений *p(t)v > f* или *pϕ*, или же различных диссимиляций с результатом *p(j)*, *pj*. Первоначальное состояние при этом просматривается достаточно четко, и это немаловажно для наших задач: речь идет о гетероклитической основе на *-ū/-ъve* и даже точнее – о сложении со вторым компонентом *-ptyl/-ptyve*. Первый компонент сложения – *dro-*, к глаголу **derq*, **derti*/**dyrati* 'драть', фигуральное употребление которого – 'быстро бежать, удирать' – имеет еще (пра)индоевропейскую древность, прочие детали, связанные с первым компонентом здесь не столь важны. Первоначальное значение всего сложения **dropty* в целом будет 'быстро бегущая птица'. В смысле исторического словообразования (как, впрочем, и в целом ряде других отношений) очевидно праславянское **droptyl/droptyve*, несомненно, стоит рядом с **kuroptyl/kuroptyve* как двучленный композит с основой на *-ū*. Конечно, можно бы было возразить, что формальный рисунок у **dropty* несколько иной, чем у **kuropty*, хотя бы в том отношении, что формы типа **droptka*, **dropatka* характерным образом отсутствуют. Допустимо высказать предположение, что здесь сказались морфологические и прежде всего акцентуационные различия: в случае с **dro-pty* с его сверхкратким первым компонентом первоначальное ударение так и осталось на исходном гласном всего сложения, ср. русск. *дрофа́* и другие однородные восточнославянские свидетельства. В случае с **kuro-pty* с полным вокализмом первого компонента существовали предпосылки для выработки (особенно после падения редуцированных) более нейтрального варианта со смещенным к середине сложного слова постоянным ударением типа "нового акута". Так появились русск. *куропа́тка* и многочисленные другие аналогичные формы, – весьма вторичный продукт из предыдущего **kúropatka* и даже более первоначального **kúropotka*, **kúrop-nytká*. Об этом могут свидетельствовать формы др.-русск. *куропоть* (XVII в.), русск. диал. (северновеликорусск.) *кúропоть*, *кúропть* ж.р., см. данные в [ЭССЯ, 13: 127–128], русская фамилия *Куроптев*, продолжающая архаичную огласовку апеллатива. Возвращаясь к не совсем обычной – для восточнославянского и некоторых других славянских – рефлексии *ъ > a* в *куропа́тка* etc, уместно отнести ее за счет охарактеризованной выше стабилизации ударения, сославшись при этом еще на аналогичные нарушения "стабилизационного" характера: *коша́чий*, *лягуша́чий*, стар. *лягуше́чий*, ср. [Kiparsky 1962: 259], где высказана однозначная

отсылка последних к основам на *-et-*, но наличие здесь исходных форм на *-ьк-* *кошка*, *лягушка* и отмеченного колебания свидетельствует против такой однозначности.

Означенная рядоположенность **kuropty*, **dropty*, прежде всего – их принадлежность к гетероклитической основе на *-ŭ/-ъve* имеет отнюдь не инновационный, скорее – архаический словообразовательно-морфологический характер. Это имеет самое прямое отношение к образованию и происхождению **kuropty*, *куропатка*, спорность трактовки которого у Х. Андерсена уже была намечена выше, начать хотя бы с этой его гипотезы о вторичном преобразовании исхода некоего условного прилагательного на *-atъ* по модели *-ŭ/-ъve* и столь же гипотетического предположения о переосмыслении *...patъ>ръ-* и вынужденного принятия серии "народных этимологий", призванных оправдать осмысление первоначального однокоренного прилагательного **korp-atъ* как двукорневого композита **kuro-pъty*. Таким образом, ясно, что на этимологию и праисторию славянского названия птицы **kuropty* мы смотрим существенно иначе, чем Х. Андерсен. Речь должна идти не о "сближении" **kurъ*, **kura* 'петух, курица', а об образовании **kuro-pъty* от **kurъ*. Конечно, домашняя курица *Gallus domesticus* к нам импортирована извне (со средиземноморского Юго-Запада? с иранского Юго-Востока?), хотя было это очень давно. Означает ли это, что заимствовано было и слово **kurъ*? Тот факт, что оно было употреблено при образовании названия д и к о й птицы куропатки, делает это сомнительным. Остается напомнить то, что было сказано на этот счет раньше: «Вообще не следует смешивать факт относительно позднего культурного заимствования и распространения курицы как домашней птицы в Европу с Востока (курица как "персидская птица" в Греции) с древним наличием звукоподражательного наименования, вторично употребленного о домашней курице. Относительная древность и исконность слав. **kurъ* подтверждается старым его употреблением в топонимии и гидронимии, ср. *Кур*, *Курица*, *Курец* в русск. гидронимии, болг. *Курец*» [ЭССЯ, 13 : 130]. Оттуда же приведем цитату из, как всегда, несколько аподиктичного, но пронизательного Брюкнера: "Во всяком случае слово *kur* – праславянское и притом извечное. Литва его не знает". Локализовав тем самым смущающий фактор культурного куроводства (о значении которого Андерсен много говорит, и мы также далеки от того, чтобы умялять это значение), мы можем поставить вопрос о семантической реконструкции праслав. **kuropty* как 'горластая, шумная птица'². Его вскрываемая при этом как бы описательность (иносказательность?) едва ли нужно обязательно толковать как в чистом виде неологизм (новая реалья = новое название). Здесь, похоже, налицо элемент охотничьего табу, о необходимости учета которого применительно к куропатке уже было бегло упомянуто выше, в том числе самим Андерсеном, который мысль эту, к сожалению, бросил, не развив. А возможно, перед нами как раз один из примеров табуирования названия куропатки; другой пример т о г о ж е – серия наименований куропатки по цвету, от **(e)rębъ/*(a)rębъ*, о чем мы будем еще говорить. Для того, чтобы вводить одно и другое, не кажется необходимым для славян вторгаться в степную зону извне, из более северных лесов, как это эффективно рисует нам автор. Ведь в сущности для этого достаточно было извечно жить в степях, а скорее, похоже, в зоне лесостепи, луговой растительности, и при этом выражать свою вполне понятную озабоченность результатами жизненно важной охоты описанными выше актами обновления (alias табуирования) своей терминологии. Что речь шла изначально о степных пространствах как среде обитания, выглядит вполне правдоподобно после того, что уже сказано о 'дрофе', с характерной дефиницией последней в русской толковой лексикографии: 'крупная степная птица семейства журавлиных'.

Итак, резюмируя то, что, по нашему мнению, послужило культурно-экологической мотивацией дескриптивного праслав. **kuro-pъty* 'шумная, голосистая птица', в основе

² Экспрессивность обозначенной куропатки идет еще дальше в "классических" языках: греч. *τέρδιξ*, буквально 'Farzeğin, п... унья', аналогично – как *κ'αφί*.

называния тут лежит не акт встречи с абсолютно "новым" при пресловутом движении с севера на юг, а извечная потребность в иносказании по отношению к всегдашнему объекту охоты. Обновленное иносказание, обнаруживающее себя как табуистический по природе феномен, объясняется скорее изнутри языка, сущности названия вообще и из традиций охотничьего языка в частности. Фактор среды обитания, экологии присутствует (мы говорим о степной зоне, например), но его надлежит трактовать не простодушно-прямолинейно, а преломленно, то есть именно так, как нам подсказывает сам язык.

Руководствуясь этими, как нам представляется, плодотворными мыслями, мы обращаемся к другим лексемам из затронутой сферы. Попробуем взглянуть на них, исходя из нашего постулата, что славянин знал куропатку изначально, а не встречал впервые и при каких-то внешних обстоятельствах (см. выше о миграции на юг). Таким образом, именно уклончивость как сущность табуистического иносказательного наименования объясняет, кажется, те двусмысленности, совершенно, впрочем, ясные древнему славянскому птицелову, но несколько затрудняющие понимание непосвященным, в чем и был, собственно, смысл всякого подобного названия. По-моему, это дает возможность ответить положительно на вопросы, которые во множестве задал еще в начале Х. Андерсен: почему **arębъ/b* (у Андерсена: **jerebĭ*) называло столь разных птиц, как куропатка и рябчик? – С точки зрения охотника, *sapientĭ sat*. И на вводные недоумевающие вопросы нашего автора, – почему и откуда синонимия и полисемия (**arębъ/b* 'рябчик; куропатка', **lęšćarъka* 'рябчик', **kurorъty* 'куропатка'), – полномочна давать ответы социальная диалектология (описанное выше промысловое табуирование), разве что при условии дополнительного распределения с диалектологией ареальной, ср. факт сходности принципов названия 'рябчика' (**lęšćarъka: Hasel-huhn*) и 'куропатки' (**arębъ/b: Reb-huhn*) в части славянских и части германских языков как очевидно вторичное (контактное?) явление. В связи со сказанным для нас, думаю, отпадает избыточная постановка вопроса Андерсеном о "затемненности" (орасити) праслав. **arębъ/b* (у автора: **jerebĭ*) как названия птицы. Здесь все кажется ясным как субстантивация прилагательного **arębъ(jb)* 'рябой, пестрый' в качестве такого названия. Ведь совершенно (синхронно) наглядно и наше *рябчик* есть не что иное, как суффиксальная субстантивация прилагательного *ряб(ой)*. Апеллировать к мнимой иррелевантности признака 'пестроты' как якобы свойственной слишком многим птицам простительно, наверное, для кабинетного дальтонизма; праславянин в этом разбирался без колебаний (см. выше). Понимание *рябина* как "рябчиковая ягода" и *курочка ряба* как "рябчиковая курочка" (!) мы, конечно, отклоняем как искусственное: издержки усложненного анализа там, где правильное прочтение лежало, так сказать, на синхронной поверхности, потому что и 'рябина *Sorbus aucuparia*' и фольклорная курочка продолжают восприниматься носителем русского языка так, как были названы вначале – как 'рябые, пестрые'.

Утверждать после всего отмеченного выше (как это делает Андерсен), что название 'рябчика' не мотивировано семантически и изолировано лексически, значило бы не видеть выгод синхронии и одновременно слишком вольно толковать возможности диахронии. Общая перевернутость авторских суждений с ног на голову (не 'рябчик' от 'рябой', а наоборот) и, кажется, чрезмерная доверчивость постулатам новой сравнительной мифологии (трехчастность мира и 'птицы' обязательно как 'летающие' существа верхнего мира) имплицитно нам авторскую этимологию праславянского названия рябчика: **jerebĭ* как индоевропейской деминутив **h₃er-bhi-* 'птичка', якобы антонимичное **h₃er-el-* 'орел' ("большая птица"?), что, конечно, все в целом очень сомнительно. Дело даже не в том, что в такой индоевропейской диалектной ветви, как балтийская, *-l-* форманты подчеркнута деминутивны ('орел', выше, как аугментатив проблематичен), а в том, скорее, что и.е. **er-l*or-*, действительно вычленимое в индоевропейских названиях орла, далее – не только в греч. ὄρνις 'птица', но и в ἔριος 'отпрыск, потомок', естественно отпочковались от глагола с

семантикой 'начинаться, рождаться'. И в этом последнем, и в ряде синонимичных примеров приходится считаться с этимологией лексем, обозначающих 'птицу' не как первоначальное 'летун', а 'детеныш, выкормыш'. Эти рассуждения, более подробно изложенные в другом месте [Трубачев 1980 : 11] или – местах, если иметь еще в виду мою книгу "Этногенез и культура древнейших славян" (М., 1991), где сделана попытка реконструкции восприятия древним славянином птиц ("птицы–детки") в рамках более общей древней идеологии рода и антропоцентризма, – эти рассуждения призваны здесь главным образом показать неубедительность членения названия рябчика как **er-imb-i-*. Эта этимология неправомерно разрушает единство древнего апофонического ряда **raib-/roib-/remb-/romb-*, который, по нашему убеждению, представлен в лексике с семантикой рябины, пестроты, разноцветности. Гласное начало (*a-* и варианты, см. [ЭССЯ, 1:73 и сл.: **arębъ*]) может отсутствовать или присутствовать уже с древних времен, представляя порой трудности для своей функциональной характеристики: префикс или преформант? Что касается корня и его чрезвычайно разнообразных вариантов, то они требуют внимательного учета и трактовки, адекватной их древности и пестроте (чистые гласные дифтонги наряду со смешанными, носовыми дифтонгами и даже редуцированными вариантами). Примат значения 'рябой, пестрый и т.п.' не оставляет у нас при этом никаких сомнений, особенно если отдавать себе отчет в потенциальной чрезвычайной лексико-семантической широте соответствующего гнезда, включавшего, по-видимому, далеко не только названия пестрых птиц. Важно по-прежнему считаться с вероятием того, что широкие потенции этого лексического гнезда на редкость удачно наложились на предрасположенность языка древних добытчиков к табуированию, к применению приблизительных атрибутивов. Утверждая это, я имею в виду, например, давний опыт В.Н. Топорова по этимологии праслав. **ryba* [Топоров 1960, 1:5 и сл.]. Самый факт забвения славянским праиндоевропейского названия рыбы, которое могло иметь вид **zъvъ*, также не случайно и уже давно ассоциируют с табуистическими мотивами. Поэтому этимология родового названия для 'рыбы' от табуистически маркированного корня **raib-/roib-* (сам Топоров склонялся к мысли о наличии здесь сочетания и с носовым согласным) в наших глазах сохраняет серьезное значение. При стандартно принимаемом обычно *й* как источнике славянского *у*, следует считаться с вероятием также других его источников, прежде всего – дифтонгических. Уровень описания и непосредственного наблюдения также подтверждает реальность такого происхождения, начиная от отражения славянского *у* как [ш] в формах, заимствованных в другие языки из славянского и кончая древним графическим начертанием *у* как кириллического *ѹ* и глаголического *ꙋ*, то есть в сущности диграф (и дифтонг) *йи*. Все это имеет самое прямое отношение к адекватной трактовке сложного апофонического ряда, куда принадлежат наши *рябой*, *рябчик* (**ręb- < *remb-*), но и *рябец* 'лосось *Trutta*', далее – укр. *рибий* (**ręb- < *roib-*), наряду с *рябий* 'рябой', но и *рыба*, **ryba* (**ruib-*), как напоминание нам о том времени, когда праславяне, охотясь за рыбой, именовали ее столь же уклончиво 'пестрой', 'рябой', (думают, что сначала имелись в виду лососевые, ср. [Коломиец 1983 : 28–29]), как и разные виды птиц.

* * *

Вот и все пока о 'рябчике' и 'куропатке' с точки зрения лингвиста-этимолога. За скобкой, несмотря на экскурсы, в основном осталось то, что историю культуры интересует в первую очередь: ареальная проекция затронутых языковых явлений. Хотя и здесь в общем удалось определить свою позицию, надеюсь, не впадая в противоречия ни с данными языка в их ареальном выражении (затронутые антитезы Лес – Степь, Ссвер – Юг), ни с собственной среднедунайской концепцией прародины славян. Говоря о последней совсем уж кратко, нам больше импонирует мысль

о раннем знакомстве славян с природой Венгерской (лесо)степной равнины (ср. само-
бытный славизм венгерского – *puszta* ‘степь’ из **pusta*, sc.l. *zemja* ‘пустая (земля)’),
а не с аридными степями Северного Причерноморья, во всяком случае – в предскиф-
скую эпоху.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Коломиец В.Т.* 1983 – Происхождение общеславянских названий рыб. Киев, 1983.
Топоров В.Н. 1960 – Из праславянской этимологии. РҮВА. – Этимологические исследования по русскому
языку. Вып. 1. М., 1960.
Трубачев О.Н. 1980 – Реконструкция слов и их значений // ВЯ. 1980. № 3.
Филин Ф.П. 1962 – Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962.
ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1. М., 1974;
Вып. 5. М., 1978; Вып. 13. М., 1987.
Kiparsky V 1962 – Der Wortakzent der russischen Schriftsprache. Heidelberg, 1962.